

# Оглавление

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Глава первая . . . . .        | 7   |
| Глава вторая . . . . .        | 35  |
| Глава третья . . . . .        | 48  |
| Глава четвертая . . . . .     | 66  |
| Глава пятая . . . . .         | 95  |
| Глава шестая . . . . .        | 115 |
| Глава седьмая . . . . .       | 118 |
| Глава восьмая . . . . .       | 130 |
| Глава девятая . . . . .       | 141 |
| Глава десятая . . . . .       | 149 |
| Глава одиннадцатая . . . . .  | 159 |
| Глава двенадцатая . . . . .   | 169 |
| Глава тринадцатая . . . . .   | 175 |
| Глава четырнадцатая . . . . . | 182 |
| Глава пятнадцатая . . . . .   | 190 |
| Глава шестнадцатая . . . . .  | 204 |
| Глава семнадцатая . . . . .   | 211 |
| Глава восемнадцатая . . . . . | 230 |
| Глава девятнадцатая . . . . . | 235 |

# ГЛАВА ПЕРВАЯ

---

Я ехал из губернского города М. в самый глухой уголок губернии на наемном возке, и моя экспедиция подходила к концу. Оставалось еще каких-то недели две ночевать в сенных сараях либо прямо в возке под звездами, пить из родников воду, от которой щемит лоб, слушать тягучие, как белорусское горе, песни баб на завалинках. А горя в то время хватало: подходили к концу проклятые восьмидесятые годы.

Не думайте, однако, что мы в то время только и делали, что кричали: «Не могу молчать!» — и спрашивали у мужика: «Зачем бежишь, мужичок?» и «Ты проснешься ль, исполненный сил?».

Это пришло позже — настоящие страдания за народ. Человек, как известно, наиболее совестлив до двадцати пяти лет, в это время он органически не переносит несправедливости, но молодежь слишком уж прислушивается к себе, ей ново и любопытно смотреть, как новыми мыслями и чувствами зеленеет душа.

И лишь потом приходят бессонные ночи над клочком газеты, на котором напечатано такими же буквами, как и все, что сегодня возвели на виселицу трех, понимаете, трех, живых и веселых. Потом приходит и желание жертвовать собой. Все мы, и я в том числе, прошли через это.

Но в те времена я в глубине души (хоть и считался «красным»<sup>1</sup>) был убежден, что не только из виселиц растут на земле леса (это, конечно, было правильным даже во времена Иосафата Кунцевича и белорусской доказательной инквизиции) и не только стоном полнятся наши песни.

---

<sup>1</sup> «Красные» — представители демократического течения в восстании 1863–1864 гг. в Польше, Беларуси и Литве (в отличие от либерального течения — «белых»). — *Здесь и далее примечания переводчика.*

Для меня в то время было значительно важнее понять, кто я, каким богам я должен молиться. Фамилия моя была, как говорили в те времена, «польская», — хотя до сих пор я не знаю, что в ней такого мазовецкого было, — в гимназии (а это было тогда, когда еще не забылся черной памяти попечитель Корнилов, соратник Муравьева) называли нас, принимая во внимание язык родителей, «древнейшей ветвью русского племени, чистокровными, истинно русскими людьми». Таким образом мы оказывались даже более русскими, нежели сами русские. Проповедовали бы нам эту теорию до начала нашего века — обязательно бы Беларусь перешибла Германию, а белорусы сделались бы первыми фашистами на земле и пошли бы отвоевывать у русских, которые не настоящие русские, жизненное пространство, особенно если бы еще добрый Боженка дал нам рога.

Я тогда искал свой народ и начинал понимать, как и многие в ту пору, что он здесь, рядом, только за два века из нашей интеллигенции хорошо выбили это понимание. Поэтому и работу себе я избрал необычную — изучение этого народа.

Я закончил после гимназии университет и стал ученым-фольклористом. Дело это в то время только начиналось и считалось среди власть имущих опасным для существующего строя. Сколько пришлось выбрасывать палок из колес — кто бы только знал!

Но повсюду — и лишь от этого становилось легче дело мое — я встречал участие и помощь. И в лице малообразованного волостного писаря, потом приславшего записки сказок мне и Романову, и в лице дрожащего за хлеб сельского учителя, и (мой народ жил!) даже в лице одного губернатора, необычайно доброго человека, настоящей белой вороны; он дал мне рекомендательное письмо, в котором повелевал под угрозой суровых последствий оказывать мне всяческое содействие.

Спасибо вам, простые белорусские люди!

Даже сейчас еще я молюсь на вас. Что уж говорить о тех годах...

Постепенно я понял, кто я. Что заставило меня сделать это?

Может, теплые огни деревень, названия которых до сих пор какой-то теплой болью входят в мое сердце: Липично, Сорок Татар, Березова Воля, урочище Разбитый Рог, Померечь, Дубрава, Ваверки<sup>1</sup>?

А может, ночлег на заливном лугу, когда дети рассказывают сказки и дрема крадется к тебе под тулуп вместе с холодом? Или свежий запах молодого сена и звезды через прохуdivшуюся крышу сарая?

Либо даже и не они, а просто хвоя в чайнике, дымные черные хаты, в которых женщины в андараках<sup>2</sup> прядут и поют бесконечную песню, похожую на стон.

Это было мое. За два года я обошел и проехал Минскую, Могилевскую, Витебскую, часть Виленской губернии. И всюду я видел слепых нищих, видел горе народа моего, дорожке которого — я сейчас знаю это — у меня не было ничего на свете.

Тогда тут был этнографический рай, хотя сказка, а особенно легенда, как наиболее непрочные продукты народной фантазии, начали забираться все дальше и дальше, в медвежью глушь.

Я побывал и там: у меня были молодые ноги и молодая жажда. И что мне только ни приходилось видеть!

Я видел церемонию с заломом<sup>3</sup>, крапивные святки, игру в забытого даже тогда «ящера»<sup>4</sup>. Но больше всего я видел последнюю картошку в миске, черный, как земля,

---

<sup>1</sup> От *белорус.* вавёркі — бёлки.

<sup>2</sup> Андарак (*белорус.*) — народная поясная одежда белорусских женщин — юбка из шерстяной или полушерстяной самотканки в клетку либо в продольные или поперечные полосы; подобие поневы.

<sup>3</sup> Залом — пучок спутанных, заломленных или завязанных узлом ржаных стеблей на ниве, травы на сенокосе, который суеверные люди считали заклятием «злодея» — знахаря, волшебника, злого человека.

<sup>4</sup> «Ящер» — народный хоровод-игра, распространенный в старину по всей Беларуси.

хлеб, сонное «а-а-а» над колыбелью, большие заплаканные глаза женщин.

Это была византийская Беларусь!

Это был край охотников и кочевников, черных смолокуров, тихого, такого приятного издали звона забытых церквушек над трясиной, край лириков и тьмы.

В ту пору как раз подходил к концу долгий и болезненный процесс вымирания нашей шляхты. Эта смерть, это гниение живо длилось долго, почти два века.

И если в восемнадцатом веке шляхта умирала бурно, с дуэлями, умирала на соломе, промотав миллионы, если в начале девятнадцатого века умирание ее еще было овеяно тихой грустью забытых дворцов в березовых рощах, то в мои времена это было уже не поэтически и совсем не грустно, а противно, порой даже ужасающе в наготу своей.

Это было умирание байбаков, спрятавшихся в свои норы, умирание нищих, предки которых были отмечены в Городельском привилее<sup>1</sup>, а сами они, хоть и жили в богатых полуразрушенных дворцах, носили едва ли не тулупы, хотя спесь их была неизмерима.

Это было одичание без просветления, мерзкие, порой кровавые поступки, причину которых можно было искать только на дне их близко или слишком далеко посаженных глаз, глаз извергов, дегенератов.

Топили разбитыми обломками бесценной белорусской мебели семнадцатого века печки, облицованные голландскими изразцами, сидели, как пауки, в своих холодных покоях, глядя в безграничную окрестную тьму через окно, по стеклам которого стекали наискось флотилии капель.

Такова была жизнь, когда я ехал в экспедицию в глухой Н-ский уезд губернии. Я избрал плохое время для поездок.

---

<sup>1</sup> Городельский привилей — законодательный акт, который был издан от имени польского короля Ягайло и великого князя литовского Витовта и юридически закреплял Городельскую унию 1413 г., согласно которой белорусско-литовская шляхта получала права польской и соответствующие гербы (затронула 47 родов).

Летом, конечно, фольклористу хорошо: тепло, вокруг красивые ландшафты. Но по своим результатам наша работа эффективнее всего в глухие осенние либо зимние дни.

Тогда происходят игрища с их песнями, прядения с их вечными историями, а позже — крестьянские свадьбы. Это наше золотое время.

Но мне выпало поехать лишь в начале августа, когда не до сказок и только протяжное наше «жниво»<sup>1</sup> звучит над полями. Я проездил август, сентябрь, часть октября и должен был застать лишь две недели, самое начало глухой осени, когда я мог надеяться на что-нибудь стоящее. Потом меня ждали в губернии неотложные дела.

Улов мой был совсем ничтожным, и поэтому я был зол, как поп, который пришел на похороны и вдруг заметил, что покойник воскрес. Меня мучила давняя застарелая хандра, которая в те дни шевелилась на дне каждой белорусской души: неверие в ценность своего дела, бессилие, глухая боль — основные признаки лихолетья, то, что, по словам одного из польских поэтов, происходит от настойчивой угрозы, что кто-то в голубом<sup>2</sup> увидит тебя и мило скажет: «Бжалте в жандармерию».

Особенно мало было у меня старинных легенд, а именно за ними я и охотился. Вы, наверное, знаете, что все легенды можно разделить на две большие группы. Первые живут всюду, распространены среди большей части народа.

В белорусском фольклоре это легенды об ужинной королеве, о янтарном дворце, бóльшая часть религиозных легенд.

А другие, как цепями, прикованы к какой-либо одной местности, уезду, даже деревне. Их связывают с удивительной скалой на берегу озера, с названием деревни либо урочища, с только одной, вот этой, пещерой. Понятно, что такие легенды, известные незначительному количеству людей,

---

<sup>1</sup> Имеются в виду народные жатвенные песни (от *белорус.* жніво — жатва).

<sup>2</sup> Намек на голубые мундиры охранки — охранного отделения жандармов.

вымирают быстрее, хоть порой значительно поэтичнее, нежели общеизвестные, и, когда их напечатают, пользуются большой популярностью. Так, например, вышла на люди легенда о Машеке<sup>1</sup>.

Я охотился именно за другой группой легенд. Мне следовало спешить: легенда и сказка вымирают.

Не знаю, как другим фольклористам, но мне всегда было трудно преждевременно уезжать из какой-нибудь местности. Мне все казалось, что за зиму, которую я пробуду в городе, тут умрет какая-либо бабушка, одна, понимаете, одна знающая нынче волшебное старинное сказание. И это сказание умрет с нею, и никто, никто его не услышит, а я и мой народ останемся обкраденными.

Поэтому никого не удивят мои злость и хандра.

Я был в таком настроении, когда один мой знакомый посоветовал мне поехать в Н-ский уезд, место, которое даже в то время считалось глухим. Он ничего мне не обещал, но, когда он рассказал, что это за место, я понял: это именно то, что мне нужно. Да мне вообще-то нечего было терять.

Думал ли он, что я там едва не сойду с ума от ужаса, открою в себе мужскую храбрость и найду... Но не будем забегать вперед.

Сборы мои были недолгими, я собрал небольшой сак, взял наемный возок и вскоре оставил «столицу» этого сравнительно цивилизованного уезда, чтобы отречься от всякой цивилизации, переехав в соседний, лесной и болотный, уезд, который по территории мало чем уступал какому-нибудь государству вроде Люксембурга.

Вначале простирались еще по обе стороны дороги поля с разбросанными кое-где дикими яблонями, похожими на дубы. Попадались деревни с целыми колониями аистов, но потом плодородная почва закончилась и потянулись бесконечные леса. Деревья стояли, как колонны, хвоя на дороге

---

<sup>1</sup> Машека — легендарный разбойник, борец за справедливость.

глушила стук колес. В лесных оврагах пахло прелостью и плесенью, то и дело срывались из-под самых копыт коней тетеревиные стаи (тетерева всегда сбиваются в кучу осенью), там и сям смотрели из-под хвои и вереска красные либо почерневшие от старости шляпки симпатичных толстых боровиков.

Два раза мы ночевали в лесных глухих сторожках и радовались, когда видели сквозь ночной мрак немощные огоньки их слепых окон.

Ночь, плачет ребенок, лошади на дворе тревожатся отчего-то — наверное, близко проходит медведь, — над верхушками деревьев, над лесным океаном частый звездный дождь.

В хате не продохнуть, девочка качает ногой колыбель. Древний, как мир, напев: «А-а-а...»

Не ходи, котик, по лавке —  
Буду бить по лапке,  
Не ходи, котик, по мосту<sup>1</sup> —  
Буду бить по хвосту.

«А-а-а...»

О, какая чудовищная, какая вечная и неизмеримая твоя тоска, Беларусь!

Ночь. Звезды. Первобытный мрак лесов.

И все-таки даже это было Италией по сравнению с тем, что мы увидели через два дня.

Лес начал чахнуть, редеть, и вскоре безграничная равнина открылась нашим глазам.

Это не была обычная равнина, на которой катят рыже-коричневые редкие волны наши хлеба, это не была даже трясина — трясина все-таки не лишена разнообразия: там есть трава, низкие искореженные деревца, там может блеснуть озерцо, — нет, это был самый ужасный, самый безнадежный из наших пейзажей — торфяные болота.

---

<sup>1</sup> Мост (белорус.) — здесь: пол.

Надо быть человеконенавистником, чтобы выдумать такие места, и представление о них может появиться лишь в пещерном мозгу желчного идиота. Но это не было выдумкой, вот они лежали перед нами...

Необъятная равнина, ровная, как стол, была коричневого, даже бурого цвета, безнадежно ровная, нудная, мрачная.

Порой попадались на ней огромные кучи нагроможденных камней, порой бурый конус, — какой-то обиженный Богом человек выбирал торф непонятно для чего, — порой сиротливо смотрела на дорогу одним окошком избушка с высоким дымоходом, и вокруг нее — ни деревца. И даже лес, который простирался за этой равниной, казался мрачнее, нежели в самом деле.

Через какой-то час начали и на этой равнине попадаться островки леса, черного, во мхах и в паутине, лишь иногда ровного, а больше всего искореженного, как на рисунках к страшной сказке.

Но эти лесочки появлялись и исчезали, и вновь простиралась равнина, равнина, бурая равнина.

Я готов был зареветь вслух от какой-то обиды.

И погода на такой случай начала портиться: низкие черные тучи ползли нам навстречу, там и сям из них тянулись наискось земле свинцовые полосы дождя. Ни одной птицы-посметюхи<sup>1</sup> не попадалось нам на пути, а это была плохая примета: должен был зарядить продолжительный ночной дождь.

Я хотел было завернуть к первой избушке, но и они больше не попадались. Поминая лихом моего знакомого, который толкнул меня на такое приключение, я сказал кучеру, чтобы он ехал быстрее, и плотно закутался в плащ.

А тучи накалились, черные, низкие, дождевые; над равниною тянулись сумерки, такие неприятные и холодные, что

---

<sup>1</sup> Птица-посметюха — хохлатый жаворонок (от *белорус.* смéцце — мусор).

мурашки ползли по коже. Где-то блеснула несмелая осенняя молния.

Я лишь успел отметить беспокойной мыслью, что это слишком поздно для грозы, как на меня, на коней, на кучера обрушился океан холодной воды.

Кто-то отдал равнину в лапы ночи и дождя.

И ночь эта была темной, как сажа, я не видел даже своих пальцев и лишь по покачиванию возка догадался, что мы еще едем. Кучер тоже, вероятно, ничего не видел и целиком надеялся на инстинкт лошадей.

Не знаю, правда ли у них есть какой-то инстинкт, но скоро повозку нашу начало бросать с кочки на кочку, из ямы на какой-то бугор и опять в яму.

Ключья грязи и какой-то трясины летели в возок, на плащ, мне в лицо, но я вскоре освоился с этим и молился лишь о том, чтобы не наехать на какую-либо прорву: самые ужасные трясины попадают именно среди таких болот, проглотит и возок, и лошадей, и людей, и утром никто даже не догадается, что здесь кто-то был, что тут две минуты кричало человеческое существо, пока бурая каша не налезла в рот, что сейчас это существо лежит вместе с лошадьми на три сажени ниже поверхности проклятого места.

Что-то взревело с левой стороны: долгий, протяжный, нечеловеческий крик. Кони дернули повозку — я едва не выпал — и помчались куда-то, видимо, напрямик по болоту. Потом что-то хрустнуло и задние колеса возка подвинулись вниз. Чувствуя, что под ноги мне натекает что-то мокрое, я дернул за плечо кучера. Тот с каким-то равнодушием сказал:

— Гибнем, барин. Тут и каюк.

Но мне не хотелось умирать. Я схватил руку кучера, разжал ему пальцы и, выхватив кнут, начал хлестать по тому месту в темноте, где должны были быть лошади.

Кто-то истошно закричал таким голосом, что лошади, видимо испугавшись, бешено дернули возок, он задрожал